

БРУНО ШУЛЬЦ

**КОРИЧНЫЕ
ЛАВКИ**



МОСКВА

МАЯКИ ЭПОХИ

ВЕЛИКИЕ КНИГИ

Brenschulte

БРУНО ШУЛЬЦ

**КОРИЧНЫЕ
ЛАВКИ**



МОСКВА

УДК 821.162.1-32
ББК 84(4Пол)-44
Ш95

Bruno Schulz
SKLEPY CYNAMONOWE

Перевод с польского *Асара Эппеля*
Оформление серии *Алексея Гаретова*

Шульц, Бруно.

Ш95 Коричные лавки / Бруно Шульц ; [перевод с польского А. Эппеля]. — Москва : Эксмо, 2025. — 352 с.

ISBN 978-5-04-215754-7

Бруно Шульц — один из самых загадочных писателей XX века. Его творчество сочетает в себе элементы магического реализма, сюрреализма и глубоко личной мифологии. Его стиль сравнивают с Францем Кафкой и Марселем Прустом, но Бруно Шульц создал свою неповторимую поэтику.

Шульц оставил небольшое, но гениальное наследие, два сборника прозы — «Коричные лавки» и «Санаторий под Клепсидрой». Оба они представляют собой не просто рассказы, а своеобразные мифологизированные хроники детства и памяти, в которых реальность растворяется в причудливых метаморфозах. Бруно Шульц пишет не просто о детстве, а о том, как мир превращается в сказку. В его текстах время — это лабиринт, город — это книга, а реальность плавится, создавая новую мифологию.

УДК 821.162.1-32
ББК 84(4Пол)-44

ISBN 978-5-04-215754-7

© Эппель А.И., перевод на русский язык.
Наследники, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Грезы и демоны европейского захолустья

Бруно Шульц — автор всего двух тоненьких книг: «Коричные лавки» и «Санатория под клепсидрой» («клепсидра» — по-польски и водяные часы, и листок-оповещение о чьей-либо кончине, так что по-русски название не передать). Обе книги теперь — шедевры мировой литературы.

Родился Шульц в 1892 году в еврейской семье. Место рождения — австро-венгерский Дрогобыч. После гимназии обучался архитектуре во Львове и художеству в Вене. Несмотря на эту — краткую, правда, — экспансию в столицы, так и остался человеком галицийского захолустья, всю жизнь прожив в том же (после Первой мировой — польском) Дрогобыче, где с 1924 по 1941 год учил рисованию и труду сперва в польской гимназии, а затем (с 1939 года — после присоединения Западной Украины) в советской десятилетке.

«Коричные лавки» вышли в 1934-м. «Санатория под клепсидрой» — в 1937-м. Это как бы повести из новелл, редкостных нарративных единиц, столь необычных и пластичных, что трудно найти в литературе похожие, хотя мировая

и польская литературы явно обогащены пером Шульца. О феномене австро-венгерской творческой ауры следует упомянуть особо — не странно ли, что в безмятежнейшем и легкомысленнейшем из государств (оперетта и вальсы, кофе по-венски и по-венски же шницель!) явились невнятные пророки будущего тлена и распада Европы: Захер-Мазох, Зигмунд Фрейд, Кафка и вот теперь Шульц — плоть от плоти прекрасной эпохи, не забытой еще по задворкам Польши или Чехословакии (то есть Чехии и Словакии — империя все еще разваливается!), где в деревенских домах взирает со стен благословенный император Франц Иосиф I?

Свободные минуты Бруно Шульц отдавал писательству и рисованию. Литературный дебют дрогобычского учителя был замечен, а вскоре дружбой с ним гордились ведущие литераторы межвоенной Польши: Тувим, Виткевич, Гомбрович. В 1938 году польская Академия литературы увенчала его Золотыми Лаврами.

Человек захолустя, он воспел его в петушины для округа час — недалеко, под Бориславом, обнаружили нефть, и старорежимная провинция превратилась в безоглядный Клондайк. Уклад, благонравие, традиция — всё полетело в тартарары. Провинциальные персонажи приохочивались к жестам и фарсам злосчастного XX века.

Шульц — писатель и рисовальщик совпадают поразительно; их зрение, намерения, рука уникальны и самодостаточны, а это свойства творцов незаурядных. Если по европейской привычке художник останавливает мгновение, ибо оно «прекрасно» (ближе к нашему времени искусство прельстится мгновениями непрекрасными), то Шульц умеет различать и фиксировать гранулы подсознания, являя в прозе и графике невиданные и нечитанные реляции из интуитивного. Как он делает это? Каких демонов выкликает? Как осознаётся бессознательное? Художники об этом умалчивают или не успевают рассказать, критики же говорят много и бессвязно, но это уже бессвязность заурядности.

19 ноября 1942 года по улицам оккупированного Дрогобыча бежали обезумевшие люди. Одни — от страха за жизнь. Другие — от желания убивать. Это именовалось «дикая акция», ибо эсэсовцы и подручная местная сволочь стреляли в каждого замеченного на улице еврея. Эсэсовец Гюнтер, желая напасть на коллегу, использовавшему Шульца в качестве частного живописца, искал, как рассказывают, именно Шульца. А увидев, подошел и выстрелил ему в голову. На тротуаре лежала расстрелянная еврейская судьба — одна из каждых трех еврейских судеб той эпохи. Остались две тоненькие книжки, несколько критических статей, незавершенные обрывки прозы и около двухсот рисунков. Земное время Шульца кончилось, могила неизвестна. Мертвого, его видели многие — живы даже свидетели! — а где похоронили и кто — уже не узнаешь. То ли в братских могилах, где закопаны еще двенадцать тысяч, то ли в могиле родительской, на старом еврейском кладбище, которого больше нет, ибо на святом месте — жилой массив, на чьи стены вперемежку с кирпичами пошли еврейские надгробия, а прописанные в домах жители пьют по вечерам чай и смотрят телевизор.

Появись у нас тексты Шульца вовремя, они стали бы мощным ферментом и для русской литературы. Еще четверть века назад я носил издателям прозу странного и поразительного польского писателя. Странность и поразительность, равно как и польскость с еврейскостью, тогда не поощрялись — попытки были безрезультатны. Ближе к нашим дням отдельные новеллы Шульца стали публиковать в периодических изданиях новые энтузиасты. В 1990 году журнал «Иностранная литература» поместил мой перевод «Коричных лавок». И вот теперь перед вами — впервые по-русски — оба давным-давно прославленные во всем мире произведения — реликтовые оттиски захолустной и одинокой гениальной еврейской судьбы.

Асар Эппель

Коричные лавки

1

В июле отец мой уезжал на воды, оставляя меня, мать и старшего брата на произвол белых от солнца, ошеломительных летних дней. Замороченные светом, листали мы огромную книгу каникул, все страницы которой полыхали сверканьем, сберегая на дне сладостную до обморока мякоть золотых груш.

Словно Помона из пламени дня распаленного, возвращалась в сияющие утра Аделя, вывалив корзинку цветастых красот солнца — лоснящиеся, полные влаги под тоненькой кожицей черешни, таинственные черные вишни, чей аромат далеко превосходил ощущаемое на вкус, абрикосы, в золотой плоти которых была сокрыта долгая послеполуденная суть, а заодно с чистой этой поэзией плодов выгружала она налитые силой и питательностью пласты мяса с клавиатурой телячьих ребер, водоросли овощей, схожие с убитыми головоногими и медузами — сырьевое вещество обеда, где вкус еще пребывал несостоявшимся и бесплод-

ным, вегетативные и теллурические ингредиенты еды, пахнувшие диким и полевым.

Сквозь сумрачную квартиру второго этажа дома на городской площади каждодневно проходило все огромное лето: тихость дрожащих сосудов воздуха, квадраты ослепительности, сновидевшие на полу свои жаркие сны; мелодия шарманки, извлекаемая из сокровенной золотой жилы дня; два-три такта рефрена, снова и снова наигрываемые на неведомой рояли, заблудившиеся в огне дня бездонного и сомлевавшие в солнце на белых тротуарах. Закончив уборку, Аделя задерживала шторы и напускала тень в комнаты. Тогда цвета снижались на октаву, комната наполнялась сумраком, словно погружалась в свет морской глубины, еще мутней отражалась в зеркалах, а вся дневная духота дышала на шторах, слегка колеблемых грезами полуденного часа.

В субботнюю послеобеденную пору мы с матерью шли гулять и из коридорных потемок сразу окунались в солнечную купель дня. Прохожие, слоняясь в золоте, жмурились от зноя, словно глаза им залепило медом, а вздернутая верхняя губа открывала их десны и зубы. И на всех, мыкавшихся в златоблещущем дне, была одна и та же гримаса жары, как если бы солнце наделило своих адептов одинаковыми масками — золотыми личинами солнечного братства; и все сегодняшние прохожие, встречаясь ли, минуя ли один другого, старики и молодые, дети и женщины, походя приветствовали друг друга личиною этой, наложенной мазками толстой золотой краски на лица, осклабясь друг на дружку своей вакхической гримасою — варварской машерой языческого культа.

От зноя городская площадь была пуста, желта и, точно библейская пустыня, до пылинки выметена горячими ветрами. Тернистые акации, выросшие из желтой этой пустоты, кипели над площадью светлой листвой, букетами тонко исполненной зеленой фили-

границы, точь-в-точь деревья на старых гобеленах. Казалось, они аффектируют ветер, театрально взвихривая кроны, дабы в патетических изгибах явить элегантность лиственных вееров с серебристой подпушкой, какая бывает у шкурок благородных лисиц. Старые дома, многодневно полируемые ветрами, подкрашивались рефlekсами огромной атмосферы, отголосками-воспоминаниями колеров, рассеянными в безднах цветастой погоды. Казалось, целые поколения дней летних (словно терпеливые штукатурщики, оббивающие фасады от плесени штукатурки) скалывали живую глазурь, ото дня ко дню отчетливее выявляя подлинное обличье домов, физиономию судьбы и жизни, изнутри обуславливавшую строения. Сейчас окна, ослепленные сверканием пустой площади, спали; балконы исповедовали небу свою пустоту; отворенные парадные благоухали прохладой и вином.

В уголку площади кучка оборвышей, упасаясь от огненной метлы зноя, обступала стеной фрагментик, снова и снова испытывая его швырками монет и пуговиц, будто из гороскопа металлических кружков этих возможно было узнать сокровенную тайну стены, исштрихованной письменами царапин и трещин. Вообще же площадь была пуста. Казалось, к сводчатому парадному с бочками виноторговца подойдет в тени колеблемых акаций ведомый за узду ослик самаритянина и два прислужника заботливо совлекут дряхлого мужа с жаркого седла, дабы осторожно внести его по прохладной лестнице на благоухающий субботой второй этаж.

Так шли мы с матерью вдоль обеих солнечных сторон площади, ведя изломанные тени свои по домам, точно по клавишам. Плиты тротуара неспешно сменялись под мягкими и заурядными нашими шагами — одни бледно-розовые, словно человечья кожа, другие — золотые и синие, но все плоские, теплые, бархатистые на свету, словно бы некие лики солнце-

подобные, зашарканные подошвами до неузнаваемости, до блаженного несуществования.

На углу Стрыйской вступили мы, наконец, в тень аптеки. Большой шар с малиновой влагой в широкой аптечной витрине олицетворял прохладу бальзамов, которыми всякое страдание могло здесь успокоиться. А еще через каких-то два дома улица больше не решалась быть обличем города, словно крестьянин, который, возвращаясь в родные места, освобождается по дороге от городского своего форса, постепенно — чем ближе деревня — снова становясь сельским оборванцем.

Домишки предместья вместе с окнами своими утопи и запропастились в буйном и путаном цветении небольших садов. Позабытые огромным днем, буйно и тихо разрастались растения, цветы и сорная трава, радуясь передышке, которую могли прогрезить за пределом времени на пограничьях нескончаемого дня. Громадный подсолнух, воздвигнувшись на могучем стебле и больной слоновой болезнью, доживал в желтом трауре последние печальные дни жизни, сгибаясь от переизбытка чудовищной корпуленции. Однако наивные слободские колокольчики и перкалевые непритязательные цветки беспомощно стояли в своих накрахмаленных белых и розовых рубашечках, безучастные к великой трагедии подсолнуха.

2

Спутанные дебри трав, бурьяна, зелени и репейника полыхают за полдень в пламени. Звенит сонмами мух послеполуденная дрема сада. Золотое жнивье кричит на солнце, точно рыжая саранча. В ливневой огненной гуще трещат кузнечики; стручки семян тихо взрываются, как сиганувшие кобылки.

К изгороди шуба травы вздымается выпуклым горбом-косогором, словно бы сад перевернулся во сне